

# ПУЗЫРЬКИ

## Рассказ

Элис училась вместе с нами на курсах по выживанию. Так мы называли бесплатные уроки английского, любезно предоставленные мэрией Нью-Йорка. Никто не ходил туда за языком. Ходили за халявным кофе в бездонных термосах и черствыми пончиками с глазурью. Глазурь была крепкая, как черепаший панцирь. Она застревала в зубах и оставалась там до конца дня, вызывая ноющую боль. И все равно мы с удовольствием пончики ели и даже уносили с собой — лишние деньги у нас не водились. Занятия проходили два раза в неделю в одной из бруклинских библиотек. В библиотеке пахло деревом и хлоркой. Кабинет был небольшой, как и наш класс: всего восемь парт и восемь учеников. Ученики часто менялись. Но за полгода уже образовался костяк группы — Элис и я. Так мы и подружились.

Элис имела привычку всех подряд обнимать. Многие ее сторонились. Я поначалу тоже. Вся одежда Элис была пропитана потом тяжелых эмигрантских будней. Вскоре я привык к ее зловонным объятиям и, бывало, даже немного расстраивался, когда Элис не приходила на занятия. Я отвык от человеческой ласки, и ее объятия напоминали о матери и бабушке — счастливых днях детства, где я был любимым ребенком. Я прижимал Элис к себе крепко, словно она и есть моя мать или бабушка. Желая продлить это ощущение, я не отпускал ее иногда очень долго, секунд десять и более, раскачиваясь в трогательной позе, издавая странные глухие звуки, похожие на мычание теленка. Уверен, со стороны мы походили на влюбленную пару. Она висла на мне, ее ноги приподнимались над землей. Ей это нравилось. Наверное, она тоже вспоминала детство, где была так же любима. Детство — единственное время, когда тебя могут любить искренне и по-настоящему. Мне было приятно осознавать, что я делаю Элис хотя бы на миг счастливой. Мы походили друг на друга. Хоть и была колоссальная разница в возрасте и общались мы обрывками английских фраз, жестами, взглядами. Оба выброшенные на обочину жизни, как полудохлые рыбы на берег моря, оба из кожи вон лезли, чтобы лизнуть леденец счастья хотя бы раз, — так он был заманчив сладким своим запахом. Запах постоянно витал вокруг, но у нас еще не было права пробовать его на вкус.

Мы много пили с Элис. После курсов шли в Проспект-парк; реже, когда были силы, доходили аж до Ширли-Чизем или Фреш-Крик. В Проспект-парке мы присасывались к янтарным бутылкам дешевого пива, купленным в алкомаркете неподалеку.

---

Илья Прозоров — эстонский русский писатель, преподаватель литературы. Родился в 1987 году в Таллине (Эстония). Живет и работает там же. Учится на факультете славистики Таллинского университета. Лауреат литературной премии им. Марка Алданова (2019, второе место за повесть «Ди-трейн»). Номинация на литературную премию «Kultuurkapital» за рассказ «P. S.». Номинация на литературную премию Таллинского университета. Печатался на русском и эстонском языках в журналах: «Müüfileht» (Эстония), «Vikerkaar» (Эстония), «Looming» (Эстония), «Värske Rõhk» (Эстония), «Вышгород» (Эстония), «Новый журнал» (США), «Чайка» (США), «Звезда» (Россия), «Нева» (Россия).

С двух глотков пива у Элис вдруг открывалось второе дыхание, и она, так тяжело говорившая на уроках, сметала разом все преграды в виде паст-пфектов и паст-континусов и тараторила на английском, как на родном.

— Я хочу скорее перевезти сюда мать, — говорила она, смотря на гуляющую по парку пожилую пару. — Так тяжело жить без матери!

Элис всегда начинала наши парковые попойки с этой фразы, потому что всегда находилась хотя бы одна пожилая пара на горизонте, за которую цеплялся ее взгляд. Потом Элис подолгу молчала, ковыряя ногой хрустящий гравий под скамейкой. Я не спрашивал ее о матери, зная, как больно думать об этом. Ведь где-то на другом конце света живет моя мать, вспоминает о нерадивом сыне и вспоминает, наверное, не реже, чем мать Элис вспоминает о дочери. Когда у Элис заканчивалась первая бутылка пива, она говорила:

— Когда перевезу мать сюда, будешь жить с нами! Вместе нам будет веселее. Я разрешу тебе привести девушку. Ведь в твоём возрасте надо иметь девушку!

Я молча кивал, и мне было стыдно. У меня не было девушки, я даже не помышлял об этом. Какая дура захочет прозябать с выкидышем судьбы, у которого ни документов, ни денег, ни перспектив? Ведь Нью-Йорк требует от тебя перспектив, ты обязан ему их предоставить. Иначе будешь выплунут в помойное ведро и там сгниешь за ненадобностью. Я это ясно понимал, но перспективы не рождались у меня и сейчас, после года существования на задворках Бруклина. Элис все это знала не хуже меня. Один взгляд ее красивых зеленых глаз, рассеченных красными нитями бессонных ночей, рассказывал больше любых слов. Каждое утро, шесть дней в неделю, она открывала эти глаза, доведенными до автоматизма действиями приводила себя в порядок и, распухшая от недавнего сна, ковыляла медвежьей походкой несколько кварталов до ближайшей станции сабвея; она любила утренние поездки в полупустых вагонах, позволяющие ей насладиться часовой дремотой, — их она считала своей главной удачей; ей и в голову не могло прийти, что можно жить в самом сердце аптауна, спать на час дольше в теплой кровати, а не на жестких сиденьях сабвея, и ходить на работу пешком, не видя в вечерний час пик галерею страшных, измученных лиц; она стеснялась думать о лучшей жизни, в которой могла бы по праву оказаться, обладая колоссальными запасами силы для каждодневного мучительного труда. Руки Элис, выносливые и жилистые, цвет имели неживой. Я сразу обратил на них внимание: точно такие, напудренные и сильные, я видел у покойного отца, когда он застывший лежал в глянцево-матовом гробу. Элис могла с легкостью тягать восьмикилограммовые гири, если бы то приказал придирчивый хозяин небольшого хостела на Восьмой авеню, где она работала прачкой, уборщицей и посудомойкой в одном лице. Выходя со станции сабвея, Элис меняла осанку, разгибаясь из буквы «г», в которую ее согнула жизнь; старалась идти более-менее ровно, борясь с плоскостопием — ей казалось, того требовал Манхэттен, всегда нарядный и пышный, полный красивых и здоровых людей; Элис честно называла себя прислугой этих людей. Частенько она экспериментировала с внешностью, подсматривая на улицах аптауна новинки сезона: закручивала волосы в тугую косичку, вплетала туда разноцветные нити, тратилась на маникюр, который стирался за два часа мытья посуды в холодной воде, покупала в бруклинских секунд-хендах рваные джинсы, ковбойские рубашки и безделушки в виде пластмассовых браслетов и поддельных китайских ролексов. Все это не выглядело модным, а скорее смешным и наивным. Те, кто знали ее ближе, закрывали на это глаза и относились как к забаве подростка. Были и такие, кто открыто говорил ей о дурном вкусе. К таким относился хозяин хостела. Несколько раз он даже запретил ей приступать к работе, прежде чем она не расплетет косу и не снимет с запястьев всей китайской бижутерии. Элис уходила к себе в каморку и там, в полутьме, сидя на перевернутом жестяном ведре, тихо плака-

ла и расплетала косу, мысленно жалуясь стоящей в углу швабре, которой косы разрешалось носить по службе. Элис мечтала сменить место работы. Она тщательно обрабатывала глазами чугунные эстакады сабвея, где пестрели объявления, в надежде найти подходящее место поближе к Бруклину. Работы было полно, на всю жизнь хватит, но останавливала Элис ее привязанность. Привязанность, ближайшая сестра привычки, была выше силы воли и не давала Элис пробовать новые возможности, где ее трудолюбие сыграло бы ей на руку. Она не понимала, что надо пробовать десятки новых мест, пока не найдешь подходящее. Цеплялась за первое попавшееся, как голодная орлица цепляется в полудохлого зайца и не отпускает его. Вдобавок к этому она стеснялась своего языка. Я даже подговорил нашего библиотечного преподавателя, молодого студента из бруклинского колледжа, уболтать Элис попробовать себя на новых местах. Я был убежден, что ее труд недооценивают и все хорошее у нее еще впереди.

Конечно, я был страшно наивен. И Элис была наивна. Все эмигранты наивны — такова их природа. Наивность помогает выживать в нечеловеческих условиях. Некоторые, совсем отчаявшись, верят во всякую чепуху: кто кладет зубы под подушку в надежде задобрить фею; кто пустой бумажник на голову, проезжая сквозь тоннель; кто просто ходит в церковь и яростно молится, умоляя всех святых ускорить процесс получения грин-карты или гражданства.

Элис никогда не рассказывала о прошлой жизни. Так повелось, что в эмигрантском мире такие вопросы не задают. Если человек захочет — расскажет. В воспоминания о былом, из которых я выдираю отдельные слова, потому что язык у нее тут же заплетался от волнения, Элис углублялась, только когда выпивала больше отведенной ей наперсточной нормы алкоголя. Так я узнал о больной матери, о рано умершем отце, о нескольких абортах в молодости, за которые ее отказался причащать местный священник. (Для нее это был настоящий удар, ведь семья была очень религиозной.)

— Мы не выжили бы без нашей религии, — говорила, заикаясь, Элис. — Но я, — тут же добавляла она, — не в обиде на нашу церковь и священника. Это же все от Бога. Как я могу гневаться на Бога? Но я с ним не в ладах. Не любит он меня.

Она сказала и такую фразу, усмотрев в моем взгляде сомнения на счет ее слов о Боге: — Мне пятьдесят пять, и я многое повидала. Если бы Бог не существовал, я бы давно умерла.

В начале сентября, когда тихие улицы наполнились радостными голосами детей, маршем идущих за новыми знаниями в школы<sup>1</sup> и колледжи, я устроился работать в небольшой ресторан на Манхэттене. Кажется, это было мое седьмое место работы за прошедший год. В отличие от моей кубинской подруги я нигде подолгу не задерживался, боясь привыкнуть к людям. В ресторане не могли найти хорошей посудомойки. Прежняя нещадно била посуду и постоянно опаздывала на работу, приводя менеджера в ужас. Так что посуду попеременно мыли мы, официанты и бармены, засучив рукава и натянув на голову сетку, одолженную у поваров. Однажды менеджер подозвал меня и спросил:

— Ты знаешь кого-нибудь, кто ищет работу?

Я ответил, что не знаю.

— Ты все же подумай, — сказал он. — Может, кто и найдется.

Через несколько дней начиналась новая ступень курсов после летних каникул. Я был рад возвратиться в библиотеку, где меня ждал уже знакомый горький кофе из термоса. Черствые пончики в этом году заменили сити-кейки, популярные у жителей апартаментов. Бруклиниты<sup>2</sup> хотя и недолюбливали жителей Нью-Йорка, однако быстро пе-

<sup>1</sup> От английского слова school — школа (прим. авт.).

<sup>2</sup> Бруклиниты — жители Бруклина (прим. авт.).

ретаскивали новомодные привычки из аптауна на остров. Кейки были сухими и буквально рассыпались в руках, не успевая проскочить в рот. Я скучал по пончикам с черепашьей глазурью.

Я был рад снова встретить Элис — мы не виделись все лето. Она обняла меня, как и прежде, но уже не так крепко. Я тогда не придал этому факту должного внимания. После курсов мы пошли в уже родной Проспект-парк, захватив по пути дешевого пива. Сентябрь был теплый и уютный. В парке я вдруг находил замечательные пейзажи, так похожие на запечатленные картины из детства, где осень выступала временем славных будущих перемен. В детстве осень всегда вызывала душевное волнение, никем и ничем не объяснимое. Сейчас я чувствовал то же самое, и мне хотелось плакать от внезапной экскурсии в прошлое. Я посмотрел на Элис: она шла молча, гордо подняв голову и глядя вдаль прищуренными глазами. Такой я видел ее впервые, или, быть может, в порыве ностальгии я стал более чувствителен к окружающему, утратил близорукость, с вниманием взглянул на человека, ближе которого на этой планете в данный отрезок времени у меня не было. Когда живешь вдали от родины, любая деталь, хоть немного похожая на счастливое прошлое, будь то запахи, солнечный свет или, наоборот: его отсутствие, шекотка мелкого дождя, случайно встреченный посреди парка каштан, сбросивший шоколадные плоды, архитектурная часть музея, церкви или даже общественного туалета, заставляет тебя трепетать, — ты с ужасом вспоминаешь расстояние, физическое и, более того, душевное, которые ты оставил позади, чтобы отвязаться от этого самого прошлого, очиститься, стерилизовать память. Но память умнее и хитрее человека. Ее не проведешь.

Мы сели на деревянную скамейку под уже начавшим краснеть кленом. Он сбрасывал потихоньку остроконечные листья, застилая ими еще сочную зеленую траву под собой. Тут я совсем приуныл, вспомнив пушистый клен перед домом бабушки, посаженный дедом в год рождения сестры, поэтому нам, детям, всегда было радостно осознавать, что мы точно знаем его возраст. Клен в семье любили и тщательно за ним ухаживали, удобряли его нежные корни чайной заваркой и печной золой. Трава вокруг клена выкашивалась до основания, а местным котам запрещалось даже смотреть на него. Когда те норовили поточить когти, бабушка гоняла их мокрым полотенцем. В Проспект-парке клены были наряднее и величественнее деревьев из детства; но они были неродными, а лишь выступали проводниками в память.

— Мне здесь нравится, — сказала Элис. — Этот город такой разный.

Мы отвинтили пробки наших напитков и присосались к ним, совсем как бедуины к сосудам с родниковой водой после трехдневного перехода через пустыню. Элис говорила о брате, погибшем много лет назад в драке. Сегодня была годовщина его смерти. Она сказала, что убийца брата еще очень долго разгуливал на свободе и без сожаления заглядывал в глаза ее матери. Встретив его на улице, мать не могла сдержать слез, — придя домой, падала на кровать и могла лежать так несколько суток, не прирагиваясь к пище.

— Она даже ходила под себя, — сказала Элис, — так тяжело ей было переживать эту несправедливость.

— Что стало потом с этим человеком? — спросил я.

— Его тоже убили в драке. Аминь. — Она запила это пивом.

Потом долго молчали. Я смотрел на профиль Элис, на ее поседевшие волосы: она будто вся постарела вмиг, осунулась. Она смотрела на пруд, на клены, на гуляющие пожилые пары — куда уж без них — и болтала короткими ножками под скамейкой, чиркая по гравию, как спичками по фосфору. Так она делала всегда, расчищая, пока не покажется сырая земля; из земли выковыривала пробки и алюминиевые кольца из-

под пивных банок. После Элис под скамейкой всегда оставались непонятные узоры и холмики грунта.

— Мы беззащитны перед этим страшным миром, — сказала вдруг Элис, с трудом подбирая английские слова.

Я не сразу уловил ее мысль. Она как будто поняла это и повторила еще раз, очень медленно:

— Мы беззащитны перед этим страшным миром!

Мне захотелось переубедить ее. Я попытался. Но Элис и глазом не моргнула. Она сделала несколько больших глотков пива, заставляя разгуливать вверх и вниз неугомный коричневый кадык, закрыла бутылку, дождалась, когда уляжется пена, быстро взглянула на стекающее внутри пиво и проговорила чуть слышно:

— Словно пузырьки...

— Элис, ты о чем? — спросил я.

— Словно пузырьки наши с тобой жизни, — сказала Элис.

Она взболтнула бутылку и подняла ее на солнечный свет, демонстрируя жизнь маленьких пузырей, похожих на головастика.

— Видишь, это я, — сказала она и ткнула корявым пальцем в бутылку, по внутренней стенке которой сползала прозрачная капля. — Сейчас она исчезнет, смотри!

И действительно, проскользив еще пару сантиметров, капля лопнула и исчезла навсегда.

— Вот так и мы, — улыбнулась Элис. — Бежим, а потом исчезаем. Навсегда!

Последнее слово она выделила особо, приправив его мексиканским акцентом. И сказала:

— Не грусти. Ты слишком много грустишь. Пройдет время, и ты будешь вспоминать о былом с улыбкой.

Над нами шумно пролетел самолет. Уже не первый. Я посмотрел вверх и подумал, как хорошо сейчас его пассажирам лететь из Нью-Йорка. Быть может, они летят на отдых во Флориду, сидя в мягких креслах и предвкушая ближайшие недели оллинклюзивного рая. Я очень хотел отдыха. Но еще больше я хотел отдыха для Элис. Я сказал ей:

— Давай куда-нибудь слетаем вместе? Когда появятся деньги.

— Конечно. Только я не верю, — сказала она с грустью, — что когда-нибудь это произойдет.

Подвыпивший, я ей доказывал, что обязательно произойдет, только необходимо время. Я убеждал ее, что в этом чертовом городе необходимо время, иначе никак. Она смотрела на меня ласково и с состраданием, как на умалишенного.

— Значит, съездим, — сказала она.

И вдруг я вспомнил о разговоре с менеджером. Я рассказал Элис о хорошей вакансии в нашем баре, убеждал ее, как мог, расписывая все плюсы и только плюсы этого предприятия. Минусы потом пришлось добавить тоже, чтобы моя реклама звучала убедительнее. К моему огромному удивлению, Элис обещала подумать.

Недели две я ее не трогал, не спрашивал, потом, конечно, забыл об этом предложении, утонув в эмигрантских проблемах, — их у меня всегда было с запасом. И вот после очередного урока Элис подошла ко мне, повисла на шее и шепнула на ухо, что готова прийти на собеседование. Это меня так обрадовало, словно я выиграл в лотерею. От восторга я крепко обнял Элис и даже нечаянно поцеловал в сухую, грубую щеку. Никогда так я не радовался за людей, как за нее. Она мне казалась живым воплощением всех эмигрантских судеб, страданий и побед одновременно. Она была талисманом, оберегом. Если все хорошо у Элис, то будет хорошо и у нас. Ее маленькая, неуклюжая фигура рядом с крепышами в классе, готовыми к любой работе, вдруг вы-

тягивалась и молодедела, обретая свежесть былых дней. Она завидовала нашим ресурсам, нашей свежести и бессовестной, на ее взгляд, частой перемене мест работы, которую принимала за неуважение к этой самой работе.

— Брось, Элис, — говорили ей студенты на курсах, — надо быть отважной. Надо не бояться, искать. Непрерывно искать!

— Так можно всю жизнь искать и ничего не найти, — грубо отвечала она.

И все замолкали, понимая, что нечего возразить на эти слова. Никто не перечил Элис. Даже самый дерзкий новоявленный новичок в классе замолкал перед ее спотыкающимся английским, внимательно слушая и впитывая речи, которые она проповедовала. А проповедовала она истину, всем нам знакомую, но страшную и острую, как свежий лист осоки, режущий кожу лучше любого ножа. Истин было несколько: не брать чужого и надеяться на самого себя.

Настал день, когда Элис пришла в бар. Увидев ее в проходе, я даже подпрыгнул от радости и задергался в судорогах; так иногда происходит, когда наступает день, которого мы ждали очень долго. Элис прошла в кабинет к менеджеру и вышла оттуда ровно через тридцать три минуты — я засек. Менеджер любезно провел экскурсию по кухне и, проходя мимо меня, подмигнул правым глазом. Это значило, что Элис согласилась и теперь она в нашей команде.

Прекрасно потекли дни. Через неделю весь персонал любил Элис, как родную мать. Все находили приют в ее объятиях: мужчины обсуждали с ней зарплату, новости и погоду, а девушки — неудавшиеся отношения, потрескавшийся маникюр и прыщи на лбу. Мы с ней стали общаться меньше. Элис много работала, иногда без выходных. Она сказала, что какому-то двоюродному племяннику на Кубе необходимо срочно помогать финансово. А я думал, что она элементарно устает и ей не хочется отдавать много внимания человеку, который привел ее сюда. Так бывает: мы быстро забываем тех, кто нам помог. Я не обижался, я неплохо усвоил закон нью-йоркских джунглей. Главное — все хорошо у Элис, а значит, будет все хорошо и у нас, повторял я про себя.

Наш последний совместный поход в Проспект-парк относится к тому же времени. С кленов уже слетели последние листья, медленно погрузились на дно пруда и уснули там навсегда. Октябрь уходил, закрывая за собой дверь резкими порывами ветра. Пожилые пары спрятались в уютных бруклинских квартирах, укрылись теплыми ватными одеялами и уткнулись в телевизоры. Даже бомжи и те попрятались в подвалах и заброшенных домах до следующей весны, как прячутся под снег от суровых заморозков подснежники. Лишь изредка, шурша гравием, пробежал закутанный в три шарфа одинокий спортсмен, мечтающий о теплой ванне. Мы с Элис в кои-то веки изменили себе и взяли бутылку красного вина. Что-то подсказывало мне, что я никогда больше не увижу эту женщину с большой буквы, вышедшую один на один бороться с дерьмовой эмигрантской судьбой, имея при себе только твердые убеждения и стальной характер, когда как у судьбы есть в арсенале все, на что способна фантазия; маленькая, щуплая женщина, которая таких, как я, потерянных и слепых, заткнула за пояс своей волей к жизни. Я впервые за тридцать лет гордился дружбой с человеком. Впервые.

— Ты прости, что я перестала с тобой общаться, — сказала Элис, осушив первый пластиковый стакан вина. — Я думаю только о работе. Это меня спасает.

Потом она рассказала о племяннике, появившемся из ниоткуда и задолжавшем какому-то банку приличные деньги. Оказывается, у него было вполне себе официальное появление в жизни Элис: он был сыном ее двоюродного брата, давно забытого всеми, пропавшего где-то в гаванских трущобах от алкоголизма много лет назад. Вино мы пили быстро, потому что было уже холодно.

— Чего ты хочешь на Рождество? — спросила Элис.

- Домой, — честно ответил я.
- Где твой дом? Разве не здесь?
- Не знаю. Наверное, везде!
- Правильно, — одобрительно сказала Элис и выпила.

Пила она быстро и залпом, как пьют водку неумелые люди. Она добавила:

- Хочешь выжить — забудь о доме.

Мы молчали. Элис долго думала, глядя на прозрачную воду осеннего пруда. Решала, стоит ли говорить мне о своих мечтах, о подарке, который хотела бы получить на Рождество. Я видел, как трудно ей думать. Элис боялась выказать сентиментальность, проявить женственность, дать слабину. У собеседника, в том числе и у меня, не возникало даже малейшего повода упрекнуть ее в слабости. Весь механизм Элис работал без люфтов. Обнаружить лазейку не было никакой возможности. Но сейчас, пока она смотрела на пруд, с ней вдруг что-то произошло. Говорят, человек хорошо чувствует перемены, медленно подползающие к его жизни, как вода медленно течет к камню, готовая подточить его и впоследствии перевернуть.

- Сегодня без пузырьков, — сказал я, разливая вино по стаканам.

Элис внимательно посмотрела на меня и, подняв левую руку, провела тыльной стороной ладони по моей щеке.

— Какой ты красивый, — тихо проговорила она. — Скоро и ты постареешь, а здесь, в этом аду, гораздо быстрее! Тебе нужна женщина.

- А что тебе нужно, Элис? — спросил я, озадаченный движением ее руки.

— Я хочу семью. Мужа, за которым спрячусь. Хочу перевезти мать. Жить втроем. Хочу похоронить мать, услышать ее последний вздох. Хочу, чтобы она знала, что я была рядом с ней... ох, так много всего я хочу!

- Все будет, Элис, — сказал я.

Мы допили вино в тишине. Это нормально, поверьте, допивать вино в полной тишине. Эмигранты часто только так и пьют, каждый думая о своем. И никто не нарушает молчание первым — это дурной тон. Из парка мы вышли уже в темноте, попрощались у ворот и разбрелись по сторонам. Больше я никогда Элис не видел.

Все, что произошло с ней дальше, останется только в памяти бруклинских улиц. Элис шла домой по бульвару Эмпайр. Пройти три квартала, свернуть на Трой-авеню и попасть в квартирку на первом этаже типичного для Бруклина кирпичного дома. Последние несколько недель Элис вдруг затосковала по дому. Засыпая, много плакала, в ушах у нее звучали мелодии забытых лет. Мелодии звали домой к матери, которая быстро чахла в одиночестве. Дочь обещала уехать на заработки и в первый же год вернуться за ней. Но судьба умеет решать за нас и давно все решила за Элис, незаметную, коренастую женщину с Кубы, которая знает, как жить правильно, доверяя самому себе и никому больше. Элис шла и шла, вспоминая мать. Вино разыграло ее воображение не на шутку. На перекрестке загорелся красный светофор, и Элис терпеливо ждала. Вдруг в доме напротив, где в окне горел яркий свет, она увидела мать. Все вокруг остановилось: время, автомобили, немногочисленные прохожие, сердце. Да, в окне была ее мать. Опираясь руками на подоконник, она смотрела на Элис и как будто тоже видела и звала ее.

- Мама, — шепнули потрескавшиеся губы Элис.

Слово это одинаково звучит на всех языках мира. И шепчут его все губы мира тоже одинаково.

- Мама, — повторила она и бросилась к дому напротив.

До дома Элис не добежала. Последнее, что дала ей услышать жизнь, был скрип тормозов. Она даже не обернулась, все смотрела на мать в окне...

Никто так никогда и не узнал подробностей смерти Элис, о виденной ей в окне матери. Это лишь мои догадки. Три дня мы недоумевали, куда она пропала. В баре образовалась очередь из желающих обсудить с ней свои насущные проблемы и получить дельный совет. Работала она у нас неофициально, потому заявлять в полицию менеджер отказался наотрез. У него хватило ума и мужества съездить по адресу, который она нехотя оставила ему при поступлении на работу. Вернулся он через несколько часов, пришибленный.

— Элис больше нет, — сказал он в раздевалке между прочим. — Умерла Элис. — И ушел к себе в кабинет искать в Интернете новую посудомойку.

Я, как и многие в баре, отказывался верить в ее смерть. Как могла судьба так легко надругаться над Элис — живым воплощением мужества и борьбы?

— Вот и твой пузырек лопнул, Элис, — сказал я себе, вспомнив наш разговор в Проспект-парке.

Сколько таких пузырьков еще лопнет! И мой когда-нибудь тоже. Может быть, не так страшно, что в конечном итоге лопнет — важно, вспомнят ли о твоём пузырьке. Недолго горевал бар, да и я, признаться, тоже. Борьба за выживание молниеносно уводит от чужих проблем. Теперь каждый раз, когда я запиваю тоску по дому дешевым пивом и вижу на стенках бутылки бегущие наперегонки и лопающиеся на финише пузырьки, я вспоминаю Элис. Пока мой пузырек не лопнет, память о ней будет со мной. Это я знаю точно.